

СИЛУЭТ

Рустам М.



ЦВЕТOK

В МИРЕ ПЕПЛА

Рустам М. Силуэт

<https://litres.ru/74228774>

SelfPub; 2026

Аннотация

Сначала исчезают краски. Потом — звуки. Потом — запахи. Остаётся только серый свет, который не греет, и ветер, который не приносит новостей. В этом мире нет ничего, кроме пустоты и тех, кто продолжает в ней двигаться.

Они не ищут смысла. Они не ждут спасения. Они просто идут — потому что остановка означает исчезновение. Они не знают, кто они, не помнят, откуда пришли. Только тени, которые однажды были людьми.

Но есть один, кто помнит. Одно слово, которое он не дал умереть вместе с миром. Обещание, которое не имеет смысла, но имеет вес. Оно держит его на ногах, когда всё остальное уже рухнуло.

Содержание

Пролог	4
Глава 1: Обещание	8
Г	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Рустам М.

Силуэт

Пролог

Я не чувствую рук, я не чувствую ног, сухое лицо горит, горит от холода и отчаяния. Мне нужно больше надежды на то, что где-то там есть что-то, что спасёт меня, пока я иду по этим пустынным пейзажам, просто пытаюсь найти то, чего возможно даже не существует.

Я встал со скрипучего дивана, подошёл к окну, провел ладонью по пыльному стеклу, за которым бушевал холодный ветер. Сквозь редкие просветы в облачном полотне пробивалось неяркое солнце, освещая эту улицу тусклым, болезненным светом, от которого становилось ещё тоскливее. Снег на тротуарах, серый, был усеян осколками, остатками разбитых витрин и брошенных автомобилей. Ржавые, с выбитыми стеклами, они стояли как призраки исчезнувшей цивилизации. На улицах царила тишина, только ветер скрипел в стенах.

Я разжёг небольшой костёр из того, что нашёл в комнате: обшивка дивана, остатки стола. Не много согревшись у огня, я медленно пошел по коридору, осторожно ступая по скрипучему деревянному полу.

Кухня встретила меня тишиной. Такой, что, казалось, можно было услышать, как оседает пыль.

Методично, словно автомат, я обыскивал шкафчики. Открывал, закрывал, снова открывал — движения, отточенные сотнями таких же обысков. Надежда найти что-то полезное давно умерла, но привычка заставляла продолжать. Руки работали, пока голова витала где-то далеко.

Пусто. Везде пусто.

Следующая дверь в коридоре поддалась с трудом — петли заржавели, дерево разбухло от сырости. За ней обнаружилась спальня, погружённая во мрак. Тяжёлые бархатные шторы, когда-то чёрные, а теперь покрытые серым налётом пыли, поглощали даже те жалкие крохи света, что пробивались с улицы. Воздух был густым — от запаха пыли и сырости.

У кровати, укрытой колючим шерстяным одеялом, стояла покосившаяся тумбочка. Верхний ящик открылся с протяжным скрипом. Внутри — несколько книг с пожелтевшими, скрутившимися от времени страницами. И фотография — выцветшая, с загнутыми краями.

Я отдернул шторы, пропуская внутрь серый, больной свет. Поднёс снимок к глазам.

Человек в военной форме. Незнакомец. Чужое лицо, чужая жизнь. Я провёл пальцем по фотографии, стирая пыль с его лица. Кем он был? Выжил? Или стал одной из бесчисленных жертв — как те, кто лежит под пеплом?

Я положил фотографию обратно. Оглядел комнату.

Одинокая лампа на полу. Ковёр с вытертым ворсом. На стене — картина с размытым пейзажем, будто художник предвидел, как будет выглядеть мир после конца.

В дальнем конце коридора ждала ванная.

Её дверь, покрытая паутиной, когда я потянул за ручку, издала жуткий, протяжный скрежет. Луч света из разбитого окна высветил интерьер.

Кафельный пол, некогда небесно-голубой, пожелтел. Трещины змеились по его поверхности, и из них вытекали насекомые. Они разбегались от моих шагов с мерзким шуршанием, исчезая в тёмных углах. Кажется, они переживут всех, даже меня.

Разбитое зеркало на стене превратило моё отражение в жуткий пазл. В каждом осколке — часть моего лица, но вместе они складывались в портрет человека, которого я больше не узнавал.

Я опустил шарф. Впервые за долгое время позволил себе взглянуть на то, во что превратился.

Лицо — измождённое, испещрённое морщинами. Глаза напоминали потухшие угли. Волосы, спрятанные под шапкой и капюшоном, поседели.

Механически проверил кран. Конечно, сухо. Вода не шла уже много лет.

В углу ванной, скрюченное и иссохшее, лежало тело. Судя по остаткам одежды — женщина. Рядом валялся пистолет,

покрытый ржавчиной, но всё ещё узнаваемый.

Я поднял оружие. Осмотрел магазин. Один патрон остался неиспользованным. Несмотря на ржавчину, пистолет мог пригодиться — в этом мире любое оружие на вес золота. Я спрятал его в карман куртки.

Последний раз оглянулся на женщину в ванной.

Тело трогать не стал. Пусть покоится здесь.

Глава 1: Обещание

Трубу прорвало в десяти метрах впереди и коричневая вода уже хлестала на бетон.

Тьма в служебном тоннеле была неполной. Тусклая аварийная лампа через три метра отбрасывала на мокрые стены дрожащее жёлтое пятно. Воздух гудел. Гул был двойной: высокий — от вентиляции, и низкий, пульсирующий — откуда-то из глубины, с машинного зала, где работают аварийные генераторы, дающие нам электричество. И этот низкий гул никогда не прекращался.

Я вытер лицо грязным рукавом свитера. Ткань, пропитанная потом, маслом и этой вечной сыростью, лишь размазала грязь. Пассатижи выскользнули из онемевших пальцев и с глухим стуком упали в лужу у моих ног.

Третий прорыв за неделю. Я нашёл муфту в полуметре от места течи, насадил на трубу и с усилием завернул гайку. Металл противно взвизгнул, но сел на место. Пальцы саднило — ободрал кожу об острый край. Я сунул их в рот, сплюнул привкус ржавчины и полез за пассатижами. Окунув руки в лужу, я поднял их. Инструмент был продолжением руки — потёртая рукоять, зазубренные губки, которые уже плохо смыкались. Всё в этом мире было таким: потрёпанным, временным, доживающим свой срок.

Я потянулся к вентилю на основной магистрали. Металл

был холодным и шершавым. Повернул. Где-то в глубине тоннеля что-то тяжело вздохнуло, и коричневая струя из проорванного локтя ослабла, превратившись в редкие, грязные капли. На время. До следующего моего дежурства в этом каменном кишечнике, где я латал дыры в системе, которая медленно, но, верно, переваривала сама себя.

Собрал инструменты в потрёпанную сумку. Молоток, разводной ключ, обрывки проволоки, тряпки. Всё пахло ржавчиной, сыростью и безнадёгой. Перед уходом я посмотрел на свою чёрную от грязи руку, сжал её в кулак, разжал и вытерев их о не менее грязные штаны побрёл к выходу, оставляя за спиной тихое капание в темноте. Я шёл по коридорам, и тело работало на автомате — ноги несли, спина ныла, пальцы всё ещё помнили холод металла.

Светлана сидела за столом в своей будке — там, где всегда. Её морщинистое лицо под светом настольной лампы, казалось жёлтым и восковым. Я остановился у стола, не садясь. Мои мокрые штаны начали холодеть, прилипая к ногам.

— Марк, — сказала она, не глядя на меня. Её голос был плоским, без интонации. Она открыла папку, нашла мой лист. — Смена закрыта.

И сделала отметку карандашом. Карандаш был коротким, заточенным. Потом открыла жестяную коробку. Внутри лежали стопки прямоугольных картонных талонов разного цвета. Она отсчитала два серых и положила их на стол передо мной.

Я сунул их в карман, развернулся и вышел, не попрощавшись.

В столовую я появился в самый пик.

Люди из разных секторов — сталкера, сменщики, ремонтники, те, кто вообще без определённой работы, просто числится, — сбились в очередь у раздаточного окна. Кто-то переговаривался, кто-то просто стоял, уставившись в стену, кто-то ел, сидя за длинными столами из некрашенных досок. Воздух был густым, как кисель: от пара, от дыхания людей, от запаха прелого зерна, которое здесь варили каждый день.

Встал в хвост. Передо мной — мужик в телогрейке, которого я видел утром. Он не обернулся. Сзади кто-то подошёл — я слышал шаги и тяжёлое дыхание, но тоже не посмотрел. — Следующий!

Я шагнул к окошку. Женщина в грязном фартуке, с лицом, стёртым до безликой маски, взяла мой талон, не глядя. Бросила в ящик. Протянула миску.

Я взял его, отошёл к столу, втиснулся между стариком и парнем, который ей, уставившись в одну точку. Опустил ложку в кашу, поднёс ко рту.

Тёплая. Почти горячая. Я жевал и смотрел на стену. Там, над раздаточным окном, висели часы. Стрелки показывали без четверти шесть вечера. Каша оказалась совершенно безвкусной. Не солёной, не сладкой — никакой. Тёплая серая масса, которую язык опознавал как «еду» только по привычке и текстуре. Комки размокали на нёбе, превращаясь в ко-

мок, и приходилось запивать водой, чтобы проглотить его. Я жевал машинально — ложка за ложкой, — и ни о чём не думалось. Голова стала ватной, как эта каша.

Когда миска опустела, я посидел ещё немного, глядя, как люди вокруг едят, глотают, переговариваются вполголоса. Потом встал и пошёл к раздаточному окну.

Женщина в грязном фартуке подняла глаза.

Я полез в карман. Пальцы нащупали бумагу — тонкую, шершавую. Талон для Кати. Я вытащил один — серый. Положил на стойку.

— И хлеб, если есть, — сказал я.

Женщина взяла талон, повертела в пальцах, будто проверяла, не фальшивый. Потом кивнула куда-то вбок.

Я отошёл от окна, но за стол не вернулся. Взял вторую миску, ломтик хлеба — тонкий, чёрствый, с тёмными пятнами на корочке — и пошёл к выходу.

Пространство, открывшееся передо мной, никогда не предназначалось для жизни. Это был просто самый большой зал, когда-то — склад запчастей или угля. Его наскоро перегородили, провели трубы и назвали жилой зоной.

Сводчатый потолок висел низко. В щелях между плитами росла чёрная плесень.

Воздух здесь стоял густой и неподвижный. Запахи смешивались в узнаваемую, тошнотворную смесь: сырость промокшего насквозь бетона, кисловатый дух старой шерсти и тряпья, и поверх всего — тяжёлый запах немытых тел. Запах

семьдесят человек, стиснутых в одном каменном мешке.

Я побрёл к своему «углу». Так здесь называли полтора метра пространства между ржавыми стойками, отгороженного от зала гипсокартоном. Я отодвинул занавеску. Полотно с сухим скрипом поехало по карнизу, с которого сыпалась ржавая крошка.

Внутри пахло иначе. Резче. Здесь запах общего зала смешивался с другими: едкой химией лекарств, старого пота, и тем особенным, сладковатым запахом, который не спутаешь ни с чем. Запахом долгой, медленной болезни. Он въелся в одеяла, в подушку, в сам бетон стен. Этот запах и был моим углом.

На самодельной полке из обожженного ящика стояли две вещи. Книга «Цветы. Естественная история». Корешок рассыпался, страницы слиплись от сырости, края обгрызены. И рядом — фотография в деревянной рамке.

На снимке — моя семья. Мы улыбаемся, щурясь от солнца. Мама держит за руку Катю, трехлетнюю. И я, десятилетний, стою рядом, с выражением лица, которое мне сейчас казалось чужим. Незнакомым. Мы — на фоне какого-то белого здания. Вокруг — зелень. Над головой — солнце. Я помнил названия: «зелень», «солнце». Но сами ощущения — тепло на коже, запах травы, яркость цвета — стёрлись. Осталась только эта плоская, выцветшая проекция.

Сейчас мне двадцать. Между тем мальчиком на фотографии и мной, стоящим в этом вонючем углу, лежала не про-

сто пропасть лет. Лежала смерть целого мира. Тот мир с яркими красками и чистыми звуками был другой планетой. И её больше не существовало.

Катя лежала на узкой железной койке, закутанная в несколько одеял. Ткань была тонкой, вытертой до серости, и плохо держала тепло. Сырость подземелья просачивалась сквозь любые слои.

Я поставил миску на тумбочку. Каша была такой же, как всегда — серая, безвкусная, с комками. Но ещё горячая. Я налил в кружку воды, поставил рядом.

— Поешь, — сказал я, опускаясь на свою койку.

Катя повернула голову на подушке. Её глаза блестели в полумраке, но взгляд был рассеянным, будто она смотрела сквозь меня, сквозь стены.

— Потом, — прошептала она. Губы шевельнулись едва заметно. — Сейчас не хочется.

Я хотел настоять. Собрать весь свой тяжелый, усталый голос, чтобы звучать убедительно. Чтобы напомнить ей, что без еды не будет сил. Но она снова повернулась на бок, спиной ко мне, и я увидел, как под одеялом ходит её плечо — ровно, часто, с тем самым хриплым выдохом, который уже стал для меня единственной музыкой этого места.

Я не стал настаивать.

В свете лампы, висящей на шнуре, её лицо казалось другим. Не родным. Кожа натянулась, стала полупрозрачной и восковой, обтягивая скулы и подбородок. Черты заостри-

лись, стали жёстче. Это было лицо незнакомки. Лишь глаза, когда она их открывала, напоминали мне ту Катю, что осталась на фотографии.

На её лбу и над губой блестел пот. Не здоровый, горячий, а холодная, липкая испарина.

Я сел на край койки. Пружины подо мной скрипнули жалобно и громко. Я прикоснулся тыльной стороной ладони к её лбу. Кожа горела сухим, опасным жаром.

— Опять температура? — спросил я спокойным голосом, не выдавая тот страх, который теперь жил где-то под рёбрами постоянной, тупой тяжестью.

Она пошевелилась под одеялами, попыталась приподняться. Мышцы дрожали от усилия. Вместо этого она лишь медленно, с видимым трудом, повернула ко мне голову. Веки приподнялись.

Её глаза были огромными на исхудавшем лице. Такими же карими, как у мамы. И в них, сквозь лихорадочный блеск, горело то, чего я боялся пуще огня: понимание. И упрямая, последняя искра чего-то, что не желало гаснуть.

— Пустяки, — прошептала она. Шёпот был едва слышен над гудением лампы.

Я протянул руку к тумбочке. Взял пустую упаковку от таблеток. Перевернул её. Лёгкая, как пустая скорлупа. В ячейках — ничего. Только вмятины на фольге, тёмные от частых прикосновений. Не говоря ни слова, я достал из внутренне-го кармана жестяную коробочку. Открыл. В ней лежала одна

таблетка "пустышка". Я вытряхнул её на ладонь. Маленькая, белая, ничтожная. Моя рука дрогнула, когда я протягивал её.

— На, — голос сорвался, стал низким и хриплым. — Выпей. Сейчас. Может... хоть немного полегчает.

Я не верил в эти слова. Но сказать больше было нечего.

Она медленно, преодолевая сопротивление собственного тела, повернула голову. Движение было мучительно медленным.

Сначала она посмотрела на таблетку у меня на ладони.

В её взгляде не было ни страха, ни упрёка. Было тихое, усталое понимание. И что-то ещё, от чего у меня внутри всё оборвалось. Она смотрела на меня с жалостью. Жалела меня.

Её пальцы, горячие и лёгкие, коснулись моей ладони. Они не сразу взяли таблетку. Они на мгновение сомкнулись вокруг моих пальцев, слабо, почти без силы. Она держала мою руку.

Потом её пальцы скользнули, взяли таблетку, и прикосновение оборвалось. Осталось только воспоминание о нём — обжигающее и горькое, как сама эта белая крупица в её исхудавшей руке.

— Спасибо, — прошептала она и запила таблетку водой из жестяной кружки. Не за лекарство, за попытку.

Лицо её скривилось от вкуса — горько-металлического, знакомого до тошноты. Но она проглотила. Это был ритуал. Он ничего не лечил. Он просто отмечал время. Отмерял отрезки между одним приступом кашля и следующим.

Я кивнул. Слова застряли где-то в горле комом.

Она слабо повернулась на бок, спиной ко мне и к тусклому свету лампы. Ей было неловко быть на виду. Неловко, что я вижу её слабость.

И, может быть, неловко за моё лицо, на котором она читала всё, что я пытался скрыть.

В паузе между вдохом и выдохом я ловил себя на том, что задерживаю дыхание вместе с ней, жду следующего вдоха. Каждый раз, когда он раздавался, в груди что-то слабо сжималось. Я смотрел на её спину. Тонкая хлопковая майка обрисовала каждый позвонок. Они выпирали под тканью чёткими, острыми буграми. Рёбра проступали так явно, что казалось — кожа вот-вот порвётся.

И вдруг, поверх этого страшного рельефа, наложилось другое воспоминание. Не год назад, больше. Она сидела на этом же краешку кровати, запрокинув голову и смеясь. Я, бормоча что-то из школьных уроков, которую сам с трудом понимал, пытался заплести её светлые волосы в косу. Получалось криво, волосы путались. Она смеялась. Звонко, без этого хрипа в горле. Звук того смеха теперь казался призрачным, нереальным, будто его никогда и не было.

Она таяла на глазах. С каждым днём черты лица становились резче, прозрачней, словно её рисовали на тонкой, постепенно испаряющейся бумаге.

Я потянулся к шнуру и щёлкнул выключателем.

Свет погас. Тьма накрыла наш угол сразу. В ней мгновен-

но растворились очертания тумбочки, полки, складки одеял на её койке. Исчезла та страшная чёткость её костей под майкой. Осталась только темнота. Это было единственное укрытие. От её лица. От моих мыслей. От этой комнаты.

Лишь одна узкая полоска тусклого жёлтого света пробивалась из коридора через щель между занавеской и косяком. Она лежала на стене, дрожала от чьих-то шагов снаружи. Безмолвная, бесполезная полоса. Её было достаточно, чтобы видеть контур койки и тень моей собственной руки, лежащей на одеяле. Больше ничего. И в этом была странная, обманчивая безопасность.

Я снял куртку, пропахшую металлической пылью и потом. Повесил на спинку стула — там уже висела её кофта. Потом опустился на свою койку и уткнулся лицом в подушку. Наволочка была холодной и пахла старой тканью, но через несколько секунд от дыхания в ней появилось маленькое тёплое пятно.

Лежал неподвижно, стараясь дышать тише. И слушал как доносилось её дыхание. Сознание цеплялось за этот звук, как за единственную нить в темноте. Пока он есть — она здесь.

Но для чего?

Мысль возникла сама собой. Зачем чинить эти трубы, если через них всё равно течёт? Зачем получать талоны, чтобы есть безвкусную кашу, которая лишь отсрочивает тот день, когда станет нечего есть? Зачем слушать этот хриплый звук зная, что с каждым днём он становится тише?

Раньше ответ был. Катя. Нужно было добыть её таблетку, её паёк. Но сейчас — это выживание ради выживания. Пока либо трубы не лопнут окончательно, либо не перестанет дышать она. А потом, наверное, наступит моя очередь.

Я зажмурился, пытаюсь представить тишину. Полную, абсолютную. Без гула генераторов. Без хрипа в груди. Без скрипа моих суставов. Но даже воображаемая тишина была пугающей. В ней не было места даже для этой бесполезной боли. В ней не было места вообще ни для чего. Я снова перевернулся на спину.

Дыхание сбилось, участилось на несколько секунд, потом вернулось к своему неровному ритму. Я замер, слушая. Ждал, когда оно успокоится.

Вот оно и есть, подумал я. Весь смысл. Не в будущем, которого нет, не в прошлом, а в этом звуке. В отслеживании пауз между вдохом и выдохом. В этой тихой, отчаянной вахте в темноте. Пока я его слышу — у меня есть причина. И завтра снова встану в семь, надену вонючую куртку и пойду чинить трубы. Не ради будущего. Ради того, чтобы завтра вечером снова лежать здесь, слушать и отсчитывать эти драгоценные секунды тишины между её вдохами.

Я подтянул колени к груди, съёжившись в комок.

Перестань страдать, — думал я, глядя в темноту в её сторону. Хотя бы на время. Дай и мне передышку оттого, что я вижу твои страдания.

Сколько прошло — минута или час? Я уже начал прова-

ливаться в тягучую дремоту, но её голос внезапно прервал тишину. Слова были простыми:

— Марк... Что ты будешь делать, когда я умру?
Я замер.

Эти слова висели в воздухе, между нами, уже несколько недель. Я видел их в её взгляде, когда она думала, что я не смотрю. Слышал в долгих паузах между её вопросами о воде, о свете. Теперь они были высказаны вслух. Обрели форму и вес. От них в груди стало пусто и холодно, как будто кто-то вынул все внутренности и оставил лишь сквозняк. На этот вопрос не было ответа. Никакого. Но проигнорировать его теперь было нельзя. Он лежал, между нами, как ещё один невидимый житель нашего угла.

— ...Я хочу, чтобы ты нашёл цветок. Настоящий.

Слова были простыми. Детскими — ну а чего ещё ждать от тринадцатилетнего ребёнка? В них не было просьбы о лекарстве, которого нет. О тепле, которого не добыть. Не было даже просьбы не болеть. Она просила о цветке. Об одном. О чём-то хрупком, цветном, живом. О чём-то, что не пахнет сыростью, ржавчиной и болезнью. О кусочке того мира, который она не помнила, и видела только на потёртых страницах книги и на выцветшей фотографии. Мира, которого, возможно, уже не существовало нигде, кроме как в этих самых книгах и фотографиях.

Я молчал.

Её пальцы нащупали в темноте мою руку. Прикосновение

было лёгким. И горячим.

Я хотел что-то сказать. Собрать в кулак все свои «не уходи», «держись», «пустяки». Но слова застряли, превратились в комок в горле.

Её пальцы всё так же лежали в моей руке — хрупкие, беззащитные. И этот миг, висящий на волоске между сном и вечным покоем, между надеждой и отчаянием, стал самым страшным испытанием в моей жизни. Потому что, как можно уберечь от ночи того, кто сам становится её частью?

Я ждал, что она скажет что-то ещё. Хоть слово. Любой звук. Но из темноты доносилось только это тихое посвистывание — как будто где-то вдалеке, в другом конце бесконечного туннеля, медленно спускали воздух. Звук становился всё тоньше, разряжёнее. А потом исчез. Не оборвался, а именно исчез, растворился в гуле вентиляторов. Тишина не наступила — её не бывает в подземелье. Просто один знакомый звук навсегда покинул свой пост в хоре этого места.

Её дыхание остановилось.

Шелестящий звук, к которому я прислушивался каждую ночь, растворился.

Молча, с болезненной осторожностью уложив её руку на одеяло, я перевернулся на другой бок, прижавшись лбом к шершавой, ледяной поверхности стены. Влага стекала по ней тонкими, извилистыми дорожками, оставляя на моей коже ощущение слёз.

Я не стал проверять пульс. Не стал звать. Просто лежал,

прижавшись к стене, и смотрел в темноту, чувствуя, как холод бетона медленно просачивается через кожу. Вместе с ним пришло понимание. Обещание было дано. Долг — взят. Теперь в этом каменном кишечнике, кроме ржавых труб и цветных талонов, у меня появилась ещё одна работа.

Где-то наверху, сквозь метровые плиты и спрессованный столетиями грунт, доносился вой. Приглушённый, протяжный звук, будто раскачивается огромный чугунный колокол. И был он не по потерянному зеленому лугу и не по небу. Он был просто так. Потому что это всё, что осталось.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.